

Майкл Каннингем
Часы

Michael Cunningham
The Hours

Майкл Кэнингем

Часы

роман

*Перевод с английского
Дмитрия Веденяпина*



издательство **астрель**

УДК 821.111.(73)-31
ББК 84(7Сое)-44
К 19

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Издание осуществлено при техническом содействии ИЗДАТЕЛЬСТВА АСТ

Каннингем, М.

К19 Часы : роман / МАЙКЛ КАННИНГЕМ ; пер. с англ. Д. ВЕДЕНЯПИНА.
— М. : Астрель : CORPUS, 2010. — [256] с.

ISBN 978-5-271-24820-7 (ООО “Издательство Астрель”)

“Часы” — самое известное сочинение Каннингема, признанное лучшим американским романом 1999 года и удостоенное Пулитцеровской премии и награды ПЕН/Фолкнер. Как устроено время? Как рождаются книги? Как сцеплены между собой авторские слова-сны? Как влияют события (разнесенные во времени и пространстве) на слова, а слова — на события? Судьба Вирджинии Вулф и ее “Миссис Дэллоуэй”. Англия 20-х и Америка 90-х. Патриархальный Ричмонд, послевоенный Лос-Анджелес и сверхсовременный Нью-Йорк. Любовь, смерть, творчество. Обо всем этом и о многом другом в романе Майкла Каннингема “Часы”.

УДК 21.111.(73)-31
ББК84(7Сое)-44

ISBN 978-5-271-24820-7 (ООО “Издательство Астрель”)

© 1998 by Michael Cunningham
© Д. Веденяпин, перевод на русский язык, 2000
© А. Бондаренко, оформление, 2010
© ООО “Издательство Астрель”, 2010
Издательство CORPUS ®

Посвящается Кену Корбетту

А теперь мы будем охотиться на третьего тигра, который, как и прочие, всего лишь один из образов моего сна, словесная структура, а не тигр из плоти и крови, бродящий — вне всяких мифов — по нашей земле. Я не питаю на сей счет особых иллюзий, и, однако, какая-то сила толкает меня в эту странную, безрассудную, древнюю погоню, заставляя часами преследовать другого тигра, зверя, не найденного в стихах.

Х.-Л. БОРХЕС.
Другой тигр. 1960

У меня нет времени расписывать свои планы. Мне следовало бы много чего сказать о “Часах” и о моем открытии; о том, как я проделываю красивые подземные лазы вслед за своими персонажами. В результате, как мне кажется, возникает именно то, что я ищу: человечность, юмор, глубина. Согласно моему замыслу, каждый лаз связан с остальными, и в данный момент все они выходят на свет.

Вирджиния Вулф.

Из дневника. 30 августа 1923

Пролог

Она почти бежит. В зимнем тяжелом пальто не по погоде. 1941 год. Началась новая война. Она оставила дома записки: одну Леонарду, другую Ванессе. Она спешит к реке, твердо зная, что сделает то, что задумала, но все равно невольно заглядывается на холмы, церковь, отару ослепительных, чуть отдающих в желтизну овец, щиплющих траву под темнеющими небесами. Она останавливается, смотрит на овец, потом на небо, идет дальше. Голоса не умолкают, в облаках гудят невидимые бомбардировщики. Она проходит мимо одного из работников (кажется, его зовут Джон?), крупного парня с маленькой головой, одетого в фуфайку картофельного цвета. Он чистит канаву в саженом тальнике. Парень разгибается, поднимает на нее глаза, кивает и вновь склоняется к ржавой воде. Минуя его на пути к реке, она думает, как ему повезло в жизни, какая это, в сущности, удача: чистить канаву в тальнике. А вот она потерпела крах. На самом

деле никакая она не писательница — просто эксцентричная фантазерка. Лоскуты неба светятся в лужах, оставшихся после ночного дождя. Ее туфли слегка вязнут в размокшей глине. Она потерпела крах, и голоса вернулись, бормочут какую-то невнятицу прямо у нее за спиной, вот здесь, она быстро оборачивается, нет, никого. Голоса вернулись, головная боль приближается так же неумолимо, как дождь, и скоро уничтожит ее, сокрушит то, что так или иначе есть она, полностью вытеснит ее собой. Головная боль приближается, и кажется (уж не она ли сама привораживает их?), что в небе опять гудят самолеты. Она перелезает через каменное заграждение и спускается к реке. Вдали маячит одинокий рыболов, который не заметит ее, так ведь? Теперь нужно найти подходящий камень. Она действует быстро, но методично, словно следуя инструкции, обещающей успех лишь в случае неукоснительного выполнения. Она выбирает камень, размером и формой напоминающий череп поросятка, поднимает его и запикивает в карман пальто (меховой воротник щекочет шею), непроизвольно отмечая его прохладную известковость и белесовато-коричневый тон с зеленоватыми крапинами. Она смотрит на воду — прозрачную, заполняющую неровности берега, и на другую — между берегами, желтовато-бурую в пестрых пятнах, гладкую и твердую, как дорога. Не снимая туфель, она делает несколько шагов вперед. Вода холодная, но терпеть можно. Зайдя по колено, она останавливается. Она думает о Леонарде. Вспоминает его руки и бороду, глубокие складки у губ. Она думает о Ванессе, о детях,

о Вите и Этели: их так много. Все они потерпели поражение, не правда ли? Вдруг ей становится безумно жалко их всех. Может быть, развернуться, выбросить камень, возвратиться домой? Не исключено, что она даже успела бы еще уничтожить записки. Она могла бы жить дальше, могла бы оказать им эту последнюю милость. Стоя по колено в бегущей воде, она решает ничего не менять. Голоса звучат не умоляя, головная боль совсем близко, и, если она отступит сейчас, вновь вверив себя заботам Леонарда и Ванессы, они никогда уже ее не отпустят, так ведь? Нет, решает она, свобода дороже. Неловко (дно вязкое) она продвигается вперед, пока не входит в воду по пояс. Бросает взгляд в сторону рыболова в красной куртке. Он ее не замечает. В желтой воде (когда стоишь так близко, видно, что вода не бурая, а именно желтая) отражается низкое небо. Вот то, что фиксирует на прощанье земное зрение: рыболов в красной куртке и пасмурное небо в матовом зеркале воды. Почти нечаянно (так ей кажется) она не то шагает, не то просто спотыкается, и камень утягивает ее вниз. На миг верится, что это еще не конец, просто очередная неудача, просто ледяная вода, из которой легко можно выбраться на берег. Но неожиданно течение закручивает и тащит ее с такой мускулистой силой, как будто притаившийся на дне атлет мертвой хваткой схватил ее за ноги. В этом чувствуется что-то личное.

Примерно час спустя ее муж возвращается из сада. “Мадам вышла, — сообщает ему горничная, взбивая ветхую подушку, вокруг которой немедленно образуется маленькая пуховая буря. — Сказала, что скоро придет”.

Леонард поднимается в гостиную послушать новости. На столе он замечает голубой конверт, на котором стоит его имя. В конверте письмо:

Дорогой, я чувствую, что снова схожу с ума. Я уверена в этом, как и в том, что повторения этого кошмара мы просто не вынесем. Я знаю, что больше никогда уже не приду в себя. Я опять слышу голоса и не могу сосредоточиться. Поэтому я собираюсь сделать то, что кажется мне единственно правильным. Ты подарил мне счастье, больше которого не бывает. Ты был для меня всем, всем во всех смыслах. Наверное, мы были самой счастливой парой на свете, пока не началась эта жуткая болезнь, с которой я не в силах больше бороться. Я знаю, что порчу тебе жизнь, что без меня ты смог бы работать. И ты будешь работать, я верю. Видишь, я даже простую записку и то уже не способна написать. Я не могу читать. Просто мне хотелось сказать, что именно тебе я обязана всем, что было хорошего в моей жизни. Ты был невероятно терпелив и удивительно добр. Мне хочется это сказать, хотя это без того всем известно. Если кто-то и мог бы меня спасти, так только ты. Я потеряла все, кроме уверенности в твоей доброте. Я не могу больше портить тебе жизнь. Поэтому, мы с тобой были самыми счастливыми людьми на свете.

В.

Леонард выскакивает из гостиной, бросается вниз по лестнице. “Боюсь, с миссис Вулф что-то случилось, — говорит он горничной. — Возможно, она попыталась покончить с собой. Куда она пошла? Вы видели, как она выходила из дому?”

Перепуганная горничная ударяется в слезы. Леонард выбегает из дома и спешит к реке, мимо церкви и стада овец, мимо зарослей тальника. На берегу не видно никого, кроме рыбака в красной куртке.

Ее быстро уносит течением. Кажется, что она летит раскинув руки — фантастическое существо с развевающимися волосами и вздымающимися за спиной лапами пальто, — грузно летит сквозь блики карего зернистого света. Ее ступни (туфли свалились) иногда задевают о дно, взбаламучивая ил и поднимая черные скелетики листьев, — медленные облака илистой мути почти неподвижно стоят в воде и после того, как сама она давно уплыла дальше. Стебли черно-зеленых водорослей, представшие к ее волосам и пальто, плотной повязкой ложатся ей на глаза, потом соскальзывают и плывут рядом, то сплетаясь, то расплетаясь, то сплетаясь, то расплетаясь, снова и снова.

В конце концов течение прижимает ее к приземистой квадратной опоре моста в Саутисе, спиной к реке, лицом к камню. Одна ее рука согнута в локте перед грудью, другая вытянута вдоль бедра. Над ней покрытая рябью сверкающая поверхность, в которой дробится тяже-

МАЙКЛ КАННИНГЕМ

лое белое небо, прошитое темными силуэтами грачей. По мосту с грохотом несутся легковушки и грузовики. Мать с сыном (ему года три, не больше) переходят через мост. В руках у мальчика сломанная ветка. Он останавливается, приседает на корточки и пропихивает ее между перекладинами моста. Ветка падает в воду. Мать торопит ребенка, но потом все-таки разрешает ему постоять и посмотреть вниз на уплывающую ветку.

Итак, вот этот вечер в начале Второй мировой войны, вот мальчик с мамой на мосту, вот плывущая ветка, вот тело Вирджинии на речном дне, как будто ей снится все это: вода, мальчик с мамой, небо, грачи. По мосту грохочет грузовик. В кузове, обтянутом грязно-зеленым брезентом, солдаты в форме. Они машут мальчику, который только что бросил в воду ветку. Мальчик машет в ответ. Потом просит мать взять его на руки, чтобы лучше видеть солдат и чтобы они его лучше видели. Это передается мосту, резонирует в его дереве и камне, входит в тело Вирджинии. Ее лицо, прижатое щекой к свае, вбирает в себя все это: грузовик и солдат, мать и ребенка.

Миссис Дэллоуэй

Остается еще купить цветы. Кларисса симулирует недовольство (хотя на самом деле любит заниматься такими вещами), оставляет Салли отдраивать ванну и выбегает, пообещав вернуться через полчаса максимум.

Нью-Йорк. Конец двадцатого века.

Входная дверь распаивается в июньское утро такой чистоты и прозрачности, что Кларисса невольно застывает на пороге, как замерла бы на краю бассейна над бирюзовой водой, плещущей о кафель, разглядывая жидкие сетки солнечного света, покачивающиеся в голубой глубине. Стоя на бортике бассейна, она вот так же оттягивала бы прыжок сквозь тончайшую мембрану холода, чистый шок погружения. Несмотря на свою бездонную деградацию, при всей своей оглушительной и безнадежной коричневой обветшалости, Нью-Йорк обязательно дарит несколько вот таких летних утр; утр, исполненных столь непоколебимой веры в обновление, что она даже немно-

го комична, как мультипликационный персонаж, без конца попадающий во всякие невероятные передрыги и всегда выходящий из них целым и невредимым, готовый к новым подвигам.

И в этом июне деревья на Западной Десятой улице, торчащие в своих бетонных кадках среди собачьего дерьма и бумажных оберток, снова произвели на свет фантастические маленькие листочки. А в пыльном заоконном ящике у старушки из дома напротив между блекло-красными пластиковыми геранями пробился инородный одуванчик.

Как удивительно, как потрясающе на самом деле быть живой в такое июньское утро, живой и здоровой, почти неприлично богатой, спешащей в город по простому и понятному поводу. Она, Кларисса Воган, обычная женщина (в ее годы уже не имеет смысла прикидываться, что это не так), должна купить цветы и устроить прием. Кларисса переступает порог, и ее туфля устанавливает скрипучий контакт с красновато-рыжим, поблескивающим слюдой камнем верхней ступеньки. Клариссе пятьдесят два, всего пятьдесят два, и она в почти противоестественно хорошей физической форме. Она чувствует себя практически так же бодро, как в то утро в Уэлфлите, когда, восемнадцатилетняя, распахнула стеклянную дверь и шагнула в такой же свежий и пронзительно ясный летний день, просквоженный солнечной зеленью. Стрекозы зигзагами носились среди рогоза. Пахло травой и соснами. Ричард тоже вышел следом за ней, положил руку ей на плечо и сказал: “Ну, здравствуй, миссис

Дэллоуэй”. Это он дал ей такое прозвище — взбалмошная мысль, бог весть почему пришедшая ему в голову на одной пьяной вечеринке в общежитии, когда он вдруг принялся доказывать, что фамилия Воган ей не подходит. Она должна носить имя какой-нибудь великой литературной героини, заявил он и, отвергнув предложенных ею Изабеллу Арчер и Анну Каренину, настоял на миссис Дэллоуэй как на единственно приемлемом варианте. Дело было не только в совпадении имен, достаточно знаменательном самом по себе, но — что еще важнее — в предощущении сходной судьбы. Было очевидно, что провидение не потребует от Клариссы вступить в катастрофический брак или броситься под колеса поезда. Ей предназначено чаровать и процветать. Из чего с неотвратимостью следовало, что она есть и будет миссис Дэллоуэй. “Красиво, правда?” — сказала она в то утро Ричарду. “Красота — шлюха, — ответил он. — Я предпочитаю деньги”. Ему нравилось острить. Кларисса, как самая юная в их компании и вдобавок единственная женщина, чувствовала, что имеет право на некоторую сентиментальность. Если тогда шел конец июня, они с Ричардом уже были любовниками. Уже миновал почти целый месяц, как Ричард оставил Луи (Луи, фантазия на тему “мальчишка с фермы”, ходячая чувственность с томным взором) и пришел к ней.

— А предпочитаю красоту, — сказала она. Потом сняла с плеча его руку и укусила за кончик указательного пальца чуть сильнее, чем собиралась. В восемнадцать лет, с новым именем можно было позволить себе все что угодно.

Наждачно шурша гравием, Кларисса спускается по ступенькам. Почему она не способна острее переживать Ричардовы так неуместно совпавшие успех (“пророческий, исполненный подлинного страдания голос американской литературы”) и упадок (“мы вообще не можем обнаружить у вас Т-лимфоцитов”)? Что с ней?

Она любит Ричарда, она постоянно думает о нем, но этот летний день она любит все-таки немножко больше. Она любит Десятую улицу по утрам. Иногда она чувствует себя бесстыжей вдовой, которая, обесцветив волосы пергидролем, под прикрытием траурной вуали высматривает перспективных женихов на мужниных поминках. Из них троих — Луи, Ричард, Кларисса — она всегда была самой циничной и наиболее склонной к романтическим авантюрам. Она терпит подтрунивания по этому поводу уже более тридцати лет. Для себя она давно решила отказаться от борьбы и извлекать максимум удовольствия из своих недисциплинированных чувственных эскапад, которые, по замечанию Ричарда, сильно смахивают на недобрые и вместе с тем полные неподдельного обожания реакции не по летам развитого, на редкость противного ребенка. Она знает, что поэт типа Ричарда стал бы редактировать это утро, вымарывая случайную уродливость вместе со случайной красотой в поисках экономической и исторической правды, стоящей за здешними старинными кирпичными таунхаусами¹, угрюмыми архитек-

1 *Таунхаус* — городской особняк, часто с прилегающим садом. (Здесь и далее — прим. перев.)

турными излишествами епископального собора и сухопарым мужчиной средних лет, выгуливающим джек-рассел-терьера (эти бойкие кривоногие собачки стали вдруг необычайно популярны на Пятой авеню), а она, Кларисса, просто наслаждается видом этих домов, этого собора, этого прохожего с собакой, наслаждается, и все. Это по-детски, она понимает. Слишком не критично. Такая любовь — попробуй она (в ее годы!) при знаться в этом прилюдно — поставила бы ее на одну доску с наивными простаками, христианами с акустическими гитарами и женами, отказавшимися от вредных привычек в обмен на свое содержание. И тем не менее она чувствует, что в этой неразборчивой любви есть что-то невероятно глубокое, как если бы все в мире было частью огромного непостижимого плана и каждая вещь носила тайное имя, не поддающееся языковому выражению, но являющееся самой этой вещью, как мы ее видим и чувствуем. Это абсолютное и безусловное восхищение и есть, как она начинает думать, ее душа (смушающее, сентиментальное слово, но как еще это назвать?), та ее составляющая, которая, возможно, переживет распад тела. Кларисса никогда ни с кем этого не обсуждает. Она не щебечет и не захлебывается от восторга. Лишь изредка восклицает что-нибудь по поводу очевидных проявлений прекрасного, и то сохраняя определенную взрослую сдержанность. Красота — шлюха, порой говорит она. Я предпочитаю деньги.

Сегодня вечером она устроит прием. Наполнит комнаты своего дома яствами и цветами, остроумными и влиятельными людьми. Она поможет Ричарду все это пе-

режить, проследит, чтобы он не переутомился, и затем отвезет его на церемонию награждения.

Ожидая зеленый свет на пересечении Восьмой улицы с Пятой авеню, Кларисса расправляет плечи. Ага, вот она, думает проходящий мимо Уилли Басс, регулярно встречающий ее по утрам именно на этом перекрестке. Постаревшая красавица, вышедшая в тираж длинноволосая, вызывающе седая хиппи в джинсах, хлопковой мужской рубашке и экзотических (Индия? Центральная Америка?) домашних туфлях на босу ногу. В ней еще сохраняется некоторая сексуальная привлекательность, богемный шарм доброй колдуньи, и все-таки сегодня она скорее являет собой трагическое зрелище, стоя вот так, с прямой спиной, в просторной рубашке и фольклорных туфлях, наперекор земному тяготению; женщина-мамонт, уже по колено в гудроне, сделавшая короткую передышку между безрезультатными попытками высвободиться, большая и гордая, почти бесстрастная, притворяющаяся, что разглядывает нежную траву, призывно зеленеющую на противоположном берегу, хотя вряд ли уже сомневается, что попалась, что, беспомощная и одинокая, останется здесь до утра легкой добычей для голодных шакалов. Наверное, лет двадцать пять назад она была весьма эффектной; наверное, мужики таяли от счастья в ее объятиях. Уилли Басс гордится своим умением читать историю человека по его лицу, своей способностью помнить, что тот, кто сейчас состарился, был когда-то молод. Светофор меняет свет, и он продолжает свой путь.

Кларисса переходит Восьмую улицу, испытывая отчаянную нежность к сломанному телевизору, валяющемуся у

края тротуара рядом с сиротливой белой туфлей из лакированной кожи, и к тележке уличного торговца с разложенными на ней брокколи, персиками и манго; каждый плод снабжен специальным ценником, испещренным избыточными знаками препинания: “\$ 1.49!!”, “3 за один доллар!?!”, “50 центов за штуку!!!”. Впереди, под Триумфальной аркой, устроившись ровно посередине между статуями-близнецами Джорджа Вашингтона — воина и политика (и у того и у другого лица разрушены непогодой), поет старуха в строгом темном платье. Восхищает именно пестрота города, его рваный ритм, его запутанность, его ни на секунду не прекращающаяся жизнь. Да, вы читали историю Манхэттена, вы помните, что когда-то тут был участок дикой природы, купленный за несколько ниток бус, но сегодня в это почти уже невозможно поверить. Кажется, что, если начать копать, обязательно наткнешься на руины другого, более древнего города, потом еще более древнего, и так до бесконечности. Под асфальтом и травой парка (она вошла в парк, туда, где, закинув голову, поет старуха) лежат кости погребенных в “земле горшечника”, на том самом кладбище для бедняков и бродяг, что вот уже сто лет как покрыли брусчаткой, превратив в Вашингтон-сквер. Под ногами Клариссы кости мертвецов, вокруг какие-то типы шепотом предлагают наркотики (не ей), мимо проносятся три юные негритянки на роликах, и тут же старуха тянет свое монотонное и-и-и-и-и-и-и. Кларисса идет быстро и легко, радуясь своему весению и удобным туфлям (купленным на распродаже в магазине Барни, но тем не менее), по парку, неуничтожимую

запущенность которого не замаскируешь никакими покровами травы и цветов, мимо продавцов наркотиков (неужели они действительно убьют тебя в случае чего?), мимо сумасшедших, от которых фортуна (если и была к ним когда-то благосклонна) теперь явно отвернулась. И все-таки она любит этот мир именно потому, что он так груб и непреложен, и все остальные, бедные и богатые, тоже его любят, хотя и не могут объяснить за что. Иначе почему мы так цепляемся за жизнь, как бы плохо нам ни было? Даже если нам еще хуже, чем Ричарду, даже если от нас уже почти ничего не осталось, даже если наши тела — сплошные гнойные язвы, даже если мы гадим под себя. Наверное, дело как раз в этой беспричинной любви. Бетон, гудя, напряженно подрагивает под колесами бесчисленных автомобилей, фонтан выдувает длинные разноцветные ленты, голые по пояс юноши бросают друг другу фрисби¹, продавцы (из Перу или Гватемалы) жарят мясо на своих серебристых тележках-жаровнях в облаках едкого,пряного дыма; на залитых солнцем скамейках тихо беседуют, то и дело кивая, старички и старушки; блеют автомобильные гудки, бренчат гитары (вон та нечесаная группа — три мальчика и одна девочка — исполняет “Eight Miles High”²); мерцает листва; пегий пес гоняется за голубями; из проезжающей машины доносится “Always love you”³; под аркой старуха в черном выводит свое и-и-и-и-и-и.

- 1 Фрисби — спортивная “летающая тарелка”, обладающая свойствами бумеранга.
- 2 “Восемь миль в высоту” (англ.).
- 3 “Навеки твой” (англ.).

Кларисса пересекает площадь, чувствуя, как на коже оседает мельчайшая водяная пыль от фонтана, и нос к носу сталкивается с Уолтером Харди. Вот он, мускулистый, в шортах и белой майке с открытыми плечами, атлетическим шагом направляется на пробежку в парк. “Здорово”, — бросает он с подчеркнуто просторечной интонацией, и они целуются (смущающе-неловкий момент): Уолтер нацеливается на Клариссины губы, а она инстинктивно отстраняется, подставляя щеку, потом, сама себя одернув, поворачивается, но момент упущен, и губы Уолтера касаются лишь уголка ее губ. Я такая чопорная, думает Кларисса, такая старомодная. Чуть не падаю в обморок от красот природы и не могу поцеловать приятеля в губы. Ричард еще тридцать лет назад утверждал, что за ее внешностью маленькой разбойницы на самом деле скрывается патриархальная домохозяйка со всем необходимым набором соответствующих качеств, и в последнее время она с грустью фиксирует все новые и новые подтверждения своей духовной ограниченности и конформизма. Раздражение ее дочери абсолютно объяснимо.

— Рад тебя видеть, — говорит Уолтер.

Кларисса понимает, она, можно сказать, видит, что Уолтер работает сейчас над решением нетривиальной задачи по установлению места ее личной значимости в сложно устроенной социальной иерархии. Да, она литературная героиня, женщина из долгожданного романа почти легендарного писателя, но книга-то провалилась, верно? Несколько коротких рецензий, и все — волны

опять сомкнулись. Кларисса, решает Уолтер, как низвергнутая аристократка, интересна, но не влиятельна. Задача решена. Кларисса улыбается.

— С каких это пор ты по субботам в Нью-Йорке? — спрашивает она.

— Мы с Эваном решили никуда не уезжать на эти выходные, — отвечает Уолтер. — От новых лекарств Эвану настолько лучше, что он хочет сегодня пойти потанцевать.

— А это не слишком?

— Я за ним прослежу. Не дам перетрудиться. Просто ему хочется побыть на людях.

— Как ты думаешь, он смог бы добраться до нас вечером? У нас сегодня прием в честь присуждения Ричарду Карруцеровской премии.

— О! Здорово!

— Ты ведь слышал об этом, правда?

— Конечно.

— Это не ежегодная процедура. У них нет жесткой квоты, как у Нобелевского комитета или еще у кого-нибудь. Они просто присуждают премию, если чье-то творчество становится, ну, как бы неоспоримым культурным явлением.

— Замечательно.

— Да, — говорит она и, помолчав, добавляет: — Последним лауреатом был Эшбери. До него Меррилл, Рич и Мервин.

Широкое детское лицо Уолтера мрачнеет. Может быть, его озадачили имена? — недоумевает Кларисса.

Или это зависть? Неужели он тоже претендует на такую честь?

— Прости, что не предупредила заранее, — говорит Кларисса. — Я думала, тебя не будет в городе. Ведь вы с Эваном всегда куда-нибудь уезжаете на выходные.

Уолтер заверяет, что непременно заглянет и постарается привести Эвана, если, конечно, тот не предпочтет побережь силы для танцев. Кларисса понимает, что и Ричард и Салли, узнав, кого она пригласила, придут в ярость. Трудно найти что-либо менее загадочное, чем стойкая неприязнь, которую большинство людей испытывают к Уолтеру Харди, продолжающему в свои сорок шесть расхаживать в бейсболках и кроссовках; загибающему непотребные деньги на сочинительстве бульварных романов о встречах и разлуках идеально сложенных юношей; способному ночь напролет танцевать под ресторанную музычку, счастливый и неутомимый, как немецкая овчарка, приносящая палку. В Челси и Гринич-Виллидж часто видишь мужчин этого типа. Сколько бы им ни было — тридцать, сорок, за сорок, — они неизменно бодры, уверены в себе, всегда в отличной спортивной форме; всем своим видом они дают понять, что никогда не были странными детьми, что их никто никогда не дразнил и не презирал. По мнению Ричарда, такие вечно юные гомосексуалисты компрометируют дело в гораздо большей степени, чем совратители малолетних, не говоря уже о том, что в интересе Уолтера к славе, моде, ресторанам нет и тени взрослой иронии или цинизма, нет даже отдаленного намека на глубину. Но Клариссе такая

простодушная ненасытность как раз и нравится. За что мы любим детей? В частности, за то, что они живут за пределами мира иронии и цинизма. Что ужасного в стремлении мужчины продлить свою молодость, в желании наслаждаться жизнью? И вообще, нельзя сказать, что Уолтер просто продался. Нет, на самом деле он делает максимум того, на что способен: его книги полны любви и жертвенности, мужества перед лицом тяжелых испытаний — у такого рода литературы наверняка должен быть свой круг благодарных читателей. Уолтер всегда участвует в благотворительных вечерах и подписывает письма протеста; его преувеличенно восторженные рекламные отзывы регулярно украшают обложки книг менее именитых авторов. Он добросовестно и преданно заботится об Эване. Сегодня, думает Кларисса, в людях главным образом ценишь доброту и верность. Остроумие и интеллектуальная глубина, все эти разнообразные проявления гениальности рано или поздно утомляют. И она отказывается разлюбить откровенную мелкость Уолтера Харди, несмотря на фырканье Салли и раздражение Ричарда, который даже полюбопытствовал как-то вслух, не связано ли это с поверхностностью и недалекостью самой Клариссы.

— Отлично, — говорит Кларисса. — Адрес ты помнишь. В пять часов.

— Договорились.

— Награждение в восемь. Но мы хотим всех собрать не после, а до. Ричарду нельзя поздно ложиться.

— Понятно. Значит, в пять. До скорого.

Уолтер сжимает Клариссину руку и следует дальше — упругим, энергичным шагом, призванным продемонстрировать его витальную силу. Это жестокая шутка на самом деле — пригласить Уолтера на чествование Ричарда, но, в конце концов, Уолтер тоже жив нынешним июньским утром, и он бы страшно обиделся, если бы узнал (а он бы обязательно узнал), что Кларисса разговаривала с ним в этот день и умышленно не упомянула о приеме. Ветер шевелит листву, обнажая ее яркую серебристо-седую изнанку, и Клариссе вдруг безумно — ей даже самой странно, насколько — хочется, чтобы прямо сейчас рядом с ней стоял Ричард, не сегодняшний Ричард, а тот, каким он был десять лет назад: Ричард — бесстрашный и неутомимый собеседник, Ричард-зануда. Ей хочется спора, который они бы обязательно затеяли по поводу Уолтера. Пока Ричард не заболел, они всегда спорили. Ричарда всерьез занимали вопросы добра и зла, и за все двадцать лет он, в общем-то, так и не изменил своего мнения о том, что решение Клариссы жить с Салли если и не является ежедневной манифестацией ее глубокой внутренней испорченности, то уж во всяком случае свидетельствует о ее слабости и бросает тень (впрочем, он никогда бы не сказал этого прямо) на репутацию женщин в целом — ведь Ричард давно уж постановил, что Кларисса в ответе не только за саму себя, но за весь женский пол вместе со всеми его достоинствами и недостатками. Ричард всегда был самым непреклонным и самым противным Клариссиным оппонентом, ее лучшим другом, и, оставайся он таким, как прежде, не раз-

рушенным болезнью, они бы и в самом деле могли шагать сейчас рядом, рассуждая об Уолтере Харди и погоде за вечной молодостью или о том, как голубые с годами начинают подражать подросткам, изводившим их в старших классах. Тот, прежний Ричард мог бы полчаса, а то и дольше анализировать замысел чернокожего художника, намалевавшего мелом на асфальте копию боттичеллиевской Венеры, а увидев подхваченный ветром целлофановый пакет, медузообразно зыбющийся на фоне белесого неба, начать разглагольствовать о развитии химии. Он бы придумал целую историю о том, как этот пакет (в котором когда-то лежали чипсы или, допустим, перезрелые бананы и который, выходя из супермаркета, неосмотрительно выбросила замороженная мамаша, со всех сторон облепленная ссорящимися детьми) сдует в Гудзон и унесет в океан и морская черепаха, существо, которому природой назначено жить сотни лет, по ошибке примет его за медузу, проглотит и умрет. С рассказа о черепахе тот, прежний Ричард без труда перескочил бы прямо к Салли и подчеркнуто формальным тоном осведомился о ее здоровье и успехах. У него вошло в привычку спрашивать про Салли сразу после своих вдохновенных импровизаций, словно Салли (страдающая, стойкая, тонкая и глубокая Салли) была какой-то безопасной гаванью, совершенно заурядной и безвредной, чем-то вроде уютного домика на тихой улице или надежной качественной автомашины. Ричард никогда не сознается в своей нелюбви, но и никогда не переменится к ней, никогда; ни за

что не отречется от своей убежденности, что Кларисса превратилась в душе в обывательницу, — и это несмотря на то, что ни она, ни Салли не скрывали и не скрывают своих отношений, несмотря на то, что Салли верная и умная женщина, продюсер общественного телевидения, господи боже ты мой, да какие же еще обязанности ей следует взвалить на свои плечи, насколько меньше нужно зарабатывать? А талантливые, абсолютно некоммерческие книги, которые Кларисса пробивает наряду с более выгодными проектами, без которых издательство бы просто рухнуло?! А ее политические взгляды, ее работа с PWAs¹?! Всего этого он просто не замечает!

Переходя Хаустон-стрит, Кларисса задумывается, не купить ли что-нибудь Эвану в связи с его предположительно наметившимся выздоровлением. Только не цветы, они и для покойников-то не очень хороши, а дарить их больным — просто кошмар! Но что тогда? В магазинах Сохо сплошные вечерние наряды, ювелирные украшения и бидермейер², ничего подходящего для самолюбивого молодого человека с интеллектуальными запросами, который с помощью батареи лекарств (или да, или нет) протянет дольше обычного. Что вообще можно подарить?

Проходя мимо магазинной витрины, Кларисса подумывает о покупке платья для Джулии; как потрясающе

1 PWAs (Persons with AIDS) — носители ВИЧ (англ.).

2 Бидермейер — стилевое направление в искусстве.

смотрелось бы на ней вон то коротенькое черное с бретельками, как у Анны Маньяни, но Джулия не носит платьев, упорно предпочитая проводить юность — краткий период, когда можно одеваться как угодно, — расхаживая в мужских футболках и грубых башмаках размером с зольники. (Почему ее дочь так мало рассказывает ей о себе? Куда девалось кольцо, которое Кларисса подарила ей на восемнадцатилетие?) Вот неплохой книжный магазинчик на Спринг-стрит. Может, купить Эвану книгу? В витрине выставлена одна (всего одна!) Клариссина (английский детектив; с какими боями ей удалось отстоять тираж в десять тысяч и как жалко она теперь смотрится: словно никто не надеется реализовать и половины) рядом с латиноамериканской сагой, право на публикацию которой Кларисса проиграла более крупному издательству — им, кстати, едва ли удастся на ней заработать, потому что по таинственным причинам их издательство уважают, но не любят. Еще есть новая биография Роберта Мэплторпа и стихи Луиса Глюка, нет, все не то. Эти книги одновременно какие-то слишком неконкретные и слишком специальные. Хочется подарить ему книгу о его собственной жизни, книгу, которая бы помогла ему разобраться, откуда он взялся и где находится, книгу, дающую силы меняться. Не явишься же со сплетней о знаменитости! Или с фантазиями озлобившегося английского романиста! Или с историей семи сестер из Чили, как бы красиво она ни была написана. А сборник стихов Эван раскроем с такой же вероятностью, с какой станет расписывать фарфоровые тарелки.

Нет, похоже, мир вещей не может подарить утешение, а Кларисса сильно опасается, что искусство, даже величайшее (даже три Ричардовых сборника поэзии и его единственный неудобочитаемый роман), все-таки принадлежит к миру вещей. Кларисса стоит перед витриной книжного магазина, и вдруг на нее наплывает старое воспоминание: ветка трется листьями о стекло, а где-то (внизу?) начинается тихая музыка, еле слышный стон джаз-банда на проигрывателе. Это не самое первое ее воспоминание (там улитка, ползущая по краю тротуара) и даже не второе (мамины соломенные туфли или, наоборот, это первое, а то — второе), но именно в этом есть что-то невероятно значимое и глубокое, почти чудесно уютное и обнадеживающее. Наверное, она в Висконсине, в одном из тех домов, что родители снимали на лето (чуть ли не каждый сезон новый, так как мать всегда обнаруживала в предыдущем какие-нибудь недостатки, превращающие его в тему для очередного сюжета из ее бесконечной эпопеи о Скорбном Странствии Семьи Воган по долинам Висконсина). Клариссе, видимо, года три-четыре; она в доме, в который никогда уже не вернется и с которым у нее не связано больше никаких воспоминаний, только вот это, абсолютно четкое и живое, сохранившееся в памяти лучше многих вчерашних событий: ветка, хлопающая листьями по стеклу, и первые звуки духовых — как будто возникновение музыки каким-то образом связано с деревом, потревоженным ветром. Наверное, именно с этого мгновения начинается ее бытие в мире; наверное,

именно в этот момент она начала понимать обещания, подразумеваемые миропорядком, превышающим наши представления о счастье, хотя и включающим его наряду со всем прочим. Та ветка и та музыка намного важнее для нее всех этих книг на витрине. Ей хотелось бы подарить Эвану и самой себе книгу, обладающую тем же качеством, что и это воспоминание. Она стоит, разглядывая книги и свое отражение в стекле (она уже не хорошенькая, но все еще довольно красивая — когда же, интересно, начнут появляться первые признаки старости: морщины, нездоровая худоба, увядшие губы?), и идет дальше, досадуя, что не может купить Джулии то миленькое черное платье, поскольку ее дочь, находясь в идеологическом плену у крайне сомнительной особы, настаивает на футболках и военных башмаках. Невозможно не уважать Мэри Кралл за ее готовность существовать на грани нищеты, за ее бесстрашные стычки с полицией, за ее страстные лекции в Нью-Йоркском университете о жалком маскараде под названием пол — она просто не оставляет вам другого выбора. Ты честно стараешься ее полюбить, но она слишком деспотична, слишком интеллектуально и морально возбуждена, слишком безжалостна в бесконечной демонстрации своей правоты, колючей, как острые края кожаной куртки. Кларисса не сомневается, что Мэри презирует ее за любовь к комфорту и странную (она, конечно, считает это странным) лесбийскую ориентацию. Когда к тебе относятся как к врагу, устаешь — просто в силу возраста и потому, что уже невозможно одеваться слишком экстра-

вагантно. Хочется заорать на нее, чтобы она наконец поняла, что все это не так уж важно; хочется, чтобы она хотя бы несколько дней побыла в твоей шкуре, узнала твои тревоги и заботы, твой безымянный страх. Кларисса чувствует — она знает, — что они с Мэри Кралл страдают от одной и той же неизлечимой болезни, некоего комплекса душевной сверхгигиены, и, повернись диск еще на пол-оборота, могли бы стать подругами, но Мэри пришла за ее дочерью, и Кларисса, сидя в своей комфортабельной квартире, ненавидит ее так же, как всякий папаша-республиканец на ее месте. Клариссиному отцу, такому нежному и тонкому, что он чуть ли не просвечивал, нравились женщины в коротеньких черных платьицах. Он сломался; он отказался от своих принципов, как часто отказывался от спора просто потому, что проще было уступить. Впереди, на Макдугал, снимают кино — там обычная неразбериха: грузовики с оборудованием, трейлеры, белые огни юпитеров. Жизнь продолжается; снимают кино; мальчик-пуэрториканец серебристым шестом раскрывает с тугим хлопком тент уличного кафе. Жизнь продолжается, и ты еще здесь. И ты благодарна. Стараешься быть благодарной. Кларисса толкает вечно заедающую дверь цветочного магазина и входит. Вот она, высокая статная женщина, в царстве роз и гиацинтов, мшистых низких корзин с марантой и нежных орхидей, подрагивающих на тонких стебельках.

— Добрый день, — приветствует ее Барбара, работающая в магазине уже много лет.

Потом, после паузы, предлагает Клариссе щеку для поцелуя.

— Добрый день, — отвечает Кларисса.

Она касается губами кожи Барбары и вдруг чувствует, что это мгновение совершенно. Она стоит в неярко освещенном, приятно прохладном магазинчике, торжественном и роскошном, как храм, оглядывая свисающие с потолка сухие букеты и ворох разноцветных лент на задней стене. Да, существовала та ветка, хлопающая по стеклу, и потом еще одна — Клариссе было, наверное, лет пять-шесть — в окне спальни, ветка с красными листьями, и она помнит, что уже тогда, глядя на эту ветку, вспоминала ту, первую, связанную с музыкой, приплывшей откуда-то снизу. Она прекрасно помнит, что любила эту осеннюю ветку именно за то, что она напоминала ей о первой, хлопающей по стеклу дома, в которой она уже никогда не вернется и о котором ничего больше не помнит. Теперь она стоит в цветочном магазине на фоне темно-розовых маков на высоких волосатых стеблях. Ее мать, державшая в ридикюле коробочку белоснежных мятных леденцов, поджимала губы и кокетливо-восхищенным тоном называла Клариссу сумасшедшей девчонкой.

— Как дела? — спрашивает Барбара.

— Прекрасно, лучше не бывает, — отвечает Кларисса. — Сегодня у нас небольшой прием — нашему другу присудили на днях очень почетную литературную премию.

— Пулитцеровскую?

— Нет. Карруцеровскую.

Барбара делает озадаченную мину, которая, по-видимому, призвана изобразить улыбку. Барбаре около сорока. Это бледная полная женщина, приехавшая в Нью-Йорк петь в опере. Глядя на ее лицо — квадратная челюсть, суровые невыразительные глаза, — невольно проникаешься сознанием того, что и сто лет назад люди выглядели примерно так же.

— У нас сейчас не очень богатый выбор, — говорит она. — На этой неделе прошло пятьдесят свадеб.

— Да мне не нужно ничего особенного, — отвечает Кларисса. — Просто пару букетов, все равно каких.

По непонятной причине Кларисса чувствует себя виноватой перед Барбарой за недостаток дружеского участия, хотя их общение — это исключительно общение покупательницы и продавщицы. Если ей нужны цветы, Кларисса всегда заходит сюда, а год назад, когда у Барбары заподозрили рак груди, даже послала ей открытку. Оперная карьера у Барбары не сложилась; она кое-как перебивается на свою почасовую зарплату (снимает квартиру, может быть с ванной в кухне) и на сегодняшний день избежала угрозы рака. На мгновение над розами и лилиями возникает призрак Мэри Кралл, готовой ужаснуться тому, на что Кларисса собирается выбросить деньги.

— У нас есть красивые гортензии, — говорит Барбара.

— Давайте посмотрим.

Кларисса проходит в ту часть магазина, где работает рефрижератор, и перебирает цветы, вытягиваемые

Барбарой из специальных пластмассовых контейнеров. С цветов капает вода. В девятнадцатом веке Барбара была бы фермершей, тихой и неприметной, хмуρο копающейся в саду. Кларисса выбирает пионы, звездчатые лилии, чайные розы, отвергает гортензии (о, это чувство вины, наверное, ей от него уже никогда не избавиться), разглядывает ирисы (в ирисах есть что-то немного устаревшее), когда вдруг с улицы доносится жуткий грохот.

— Это еще что такое? — удивленно восклицает Барбара.

Они с Клариссой подходят к окну.

— Наверное, у киношников что-то взорвалось.

— Наверное. Они здесь с самого утра снимают.

— А что именно?

— Не знаю, — отвечает Барбара и с охапкой цветов в руках отворачивается от окна, воспроизводя высокоморальную и немного старушечью пластику своего призрачного двойника прошлого века, который вот так же отвернулся бы от тарахтящего мимо экипажа, набитого нарядно одетыми жителями отдаленного городка, выбравшимися на пикник. Кларисса остается у окна, разглядывая скопление техники. Вдруг дверь одного из трейлеров распаивается, и из нее высовывается знаменитая женская голова. Она далеко и видна только в профиль, как на монете, но Кларисса не сомневается, хотя и не может сразу точно определить, кто это (Мерил Стрип? Ванесса Редгрейв?), что перед ней кинозвезда. Это чувствуется по особой исходящей от нее эманации царственной уверенности и по тому, с какой готовностью кто-

то из ассистентов объясняет ей (беззвучно для Клариссы) причину шума. Голова быстро исчезает, дверь трейлера захлопывается, но в воздухе остается безошибочное ощущение продолжающегося надзора, как если бы ангел на мгновение коснулся сандалией поверхности нашей планеты, поинтересовался, все ли в порядке, и, получив утвердительный ответ, со скептическим видом вернулся на свое место в небесном эфире, напомнив смертным, что им лишь отчасти доверяют управление земными делами и что никакая оплошность впредь не пройдет незамеченной.